

ПРОЗАИЗИРОВАННЫЙ ТИП ДАРОВАНИЯ

*Интервью с Евгением Рейном
24 апреля 1990 года, Москва*

— Бродский считает вас одним из лучших поэтов, пишущих сегодня по-русски². Вы с ним согласны?

— Это сложный вопрос. Я высоко ценю мнение Бродского, сам же отношусь достаточно трудно к такой проблеме. Никто из сочиняющих стихи не считает себя дурным поэтом. Я вообще против какого-то выделения очень узкой группы поэтов, наименования их неким авангардом качества. Надеюсь, что я не принадлежу ко второму и третьему сорту. Это все, что я могу сказать.

— Он же сказал о вас, цитирую: „Это единственный человек на земле, с чьим мнением я более или менее считался и считаюсь по сей день. Если у меня был какой-нибудь мэтр, то таким мэтром был он“³, — то есть вы. К чему вас обязывает быть мэтром Бродского?

— Это опять-таки сложный вопрос. Иосиф, действительно, много раз в разных редакциях говорил приблизительно это. Я не могу всемерно его прокомментировать, потому что не вполне понимаю, что Иосиф вкладывает, какое содержание, в эти слова. Исторически все было приблизительно так. Дело в том, что я на пять лет старше Иосифа. И когда мы познакомились — это был 59-й год. — Иосифу было 19 лет, а мне — 24. Очень сложно и невозможно сейчас подробно описать, как тогда в Ленинграде составлялись литературные группировки, кто был во главе, кто не был во главе⁴. Но во всяком случае, в очень узкой группе поэтов мне принадлежало определенное первенство⁵. Первенство, может быть, просто связанное с тем, что я был старше остальных на год или на два; может быть, с тем, что я уже написал какие-то достаточно известные в ленинградских кругах стихи; может быть, связанное с определенной эрудицией, по тем временам затруднительной. Что касается каких-то отношений „учителя—ученика“, то в буквальном смысле, мне кажется, их не было. Просто произошла довольно интересная и удивительная история. Иосиф, которого я повстречал замечательно одаренным, но, в известной степени, эклектичным поэтом, тогда искал и разрабатывал свою собственную систему. Я уже писал довольно определенные стихи, и мне было поздно, как мне казалось, — может быть, это было ошибочно и даже наверняка ошибочно, — что-либо менять принципиальное в тех своих стихах. Однако я видел какие-то новые возможности в русском стихосложении: новые возможности влияний, новые возможности тематические, возможности привлечения какого-то психологического анализа, сближения стиха с прозой. И все эти вещи я, естественно, как-то излагал, рассказывал, делился с Иосифом ими. Я даже не всегда помнил, что именно я говорил, но оказалось, что Иосиф это запоминал. В одной из его статей я прочел пересказ даже довольно длинной нашей беседы тех лет о всякого рода вариантах поэтики⁶. Воз-

можно, вот из этих вещей и сложилось то самое мнение, которое вы сформулировали в своем вопросе.

— Бродский неоднократно отмечал тот факт, что вы в свое время дали ему один из наиболее ценных советов по части стихосложения, а именно, сводить к минимуму количество прилагательных в стихотворении ⁷. Не вспомните ли вы, когда и по поводу каких конкретно стихотворений он получил от вас такой совет?

— Вы знаете, не помню. Я помню приблизительно, что такой разговор был. Более того, это мое мнение, которого я довольно долго придерживался и которое пытался как-то применить к собственным стихам. Но я говорил, что начал писать стихи очень рано. Так что я опирался в основном на опыт советской поэзии 20-х годов, который включал не только Мандельштама, Пастернака и Заболоцкого, но и таких поэтов, как Луговской, Сельвинский, что в общем как-то связало меня уже по рукам и ногам. Я не могу припомнить буквально, в каком именно случае я говорил то, что цитирует Иосиф. Но, так как я действительно едва ли не по сей день держусь этого мнения, я, безусловно, ему это говорил.

— Кого вы считаете своим учителем?

— У меня было довольно много учителей. Я учился везде, где мог, но наиболее сильное влияние на меня оказали Блок, Анненский и Мандельштам.

— У вас есть стихотворение „Десять лет спустя, или Взгляд за окно на Манеж и на площадь“ ⁸, ритмически и синтаксически напоминающее стихи Бродского „Уходить из любви, в яркий солнечный день, безвозвратно“ [С:41-42] и „Все равно ты не слышишь, все равно не услышишь ни слова“ [С:92-93/1:160-61] ⁹. Кто с кем в них аукается?

— Это очень сложно сказать. Это и есть то, что Бродский называет нашей связью. Наступил какой-то момент, когда у нас появились какие-то общие и мелодические, и словарные, и образные, и, может быть, даже мировоззренческие ситуации. Вы, кстати, очень тонко это заметили. Стихотворение „Десять лет спустя...“ — пример того, как наши стихи сблизились не нарочито, а в силу того, что у нас были общие площадки, с которых мы писали.

— Во 2-м томе „Антологии у Голубой Лагуны“ Кузьминского ¹⁰ можно найти рядом ваши стихи „За четыре года умирают люди“ и Бродского „Через два года / высохнут акации“ [1:27], оба датированы 1958-59 гг., под шапкой „Ху из ху“ ¹¹.

— Вы знаете, я никогда не видел этой страницы Кузьминского. Я видел далеко не все тома. Мне кажется, что стихотворение „За четыре года“ написано чуть ли не до знакомства с Иосифом. Это невероятно старое стихотворение, посвященное моему другу Михаилу Красильникову ¹². Стихотворение Бродского, приводимое Кузьминским, мне вообще неизвестно. Оно из каких-то совсем ранних стихотворений. Надо сказать, что он в то время иногда попадал под обаяние некоторых ленинградских поэтов, чрезвычайно кратковременное, как Горбовского, например ¹³, а потом переходил на какие-то другие мотивы.

— А нет ли у вас с Бродским общего источника? Упомянутые выше стихи, его и ваши, ритмически напоминают пастернаковские „Помешай мне, попробуй. Приди, покусь потушить / Этот приступ печали, гремющий сегодня, как ртуть в пустоте Торричелли“ ¹⁴.

— Вы знаете, может быть и так. Но это довольно опасная мера суждения. Дело в том, что в русском языке очень небольшое количество размеров, но огромное количество ритмов. Одинаковое количество стоп и одинаковое количество разно расставленных ударений не всегда означает близость. Близость означает то, что называется ритмом, то есть дыхание стиха. Вот если бы мы воспользовались знаменитым пастернаковским ритмом из „Девятьсот пятого года“:

Приедается все.
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят,
И годы проходят,
И тысячи, тысячи лет...¹⁵ —

это бы что-нибудь значило.

— Вы читаете на манер Бродского.

— Или он на мой манер. Если же мы просто повторяем одинаковую сетку ямба или анапеста, этим ничего доказать нельзя.

— Я пришла просить вас „припомнить ясно все, что было“, говоря вашими словами, и если не „без веры, без сомненья“, то хотя бы „без пыла“. Скажите, когда вы лично начали усматривать в Бродском черты гениальности?

— Это было так. Я познакомился с Иосифом, если мне не изменяет память, в октябре 1959 года в квартире у Славинского, которую он тогда снимал в Ново-Благодатном переулке города Ленинграда. Ко мне подошел ныне существующий в Париже Леонид Ентин и сказал, что здесь сейчас присутствует человек, который пишет стихи и мучительно всем читает эти стихи: не можешь ли ты его выслушать и, наконец, разрешить эту проблему — и познакомил меня с Иосифом. Через несколько дней Иосиф пришел ко мне домой и читал свои стихи. Они мне не очень понравились. Если меня не покидает память, он находился в периоде, когда для него главными учителями были переводные поэты из журнала „Иностранная литература“: Назым Хикмет, Янис Ридос, но в русском варианте это было малопродуктивным. Но даже тогда что-то меня задело. Потом он на все лето уехал в одну из своих экспедиций. Осенью он пришел ко мне и прочитал совершенно другие стихи. Сейчас мне уже трудно вспомнить, что это были за стихи, по-моему, „Памяти Феди Добровольского“ [С:37-38]¹⁶, „Воротись на родину“ [С:58-59/І:87]¹⁷. И это уже были очень хорошие стихи. Шли годы. По-моему, в 61-м году появились стихи очень замечательные. Во-первых, это были большие стихи, которые мы тогда не умели писать. Кроме Бродского, написать никто их не мог. Такие вещи, как „Петербургский роман“ [І:64-83]¹⁸, „Исаак и Авраам“ [С:137-55/І:268-82] — это поэмы огромные. Уже были написаны „Стансы“ [С:63/І:225] и посвященное мне стихотворение „Рождественский романс“ [С:76-77/І:150-51], которое, совершенно вне посвящения, кажется мне по сей день замечательным. И, наконец, первые стихи, пришедшие из ссылки, „Новые стансы к Августе“ [О:156-60/І:386-90], я считаю стихами великими, абсолютно первоклассными, выдающимися. Таким образом, где-то в 1961-62 годах мое мнение о Бродском уже поднялось до максимальной отметки¹⁹.

— Расскажите, пожалуйста, как и когда вы познакомили Иосифа с Ахматовой?

— Это было вот как. Я об этом, кажется, уже писал. Я ездил в Бостон на Ахматовскую конференцию (осень 1989 года), и сейчас вот эти воспоминания, которые я там читал, должны появиться в журнале „Звезда“. Там это все довольно подробно описано. Я знал Ахматову уже несколько лет. Не то что я был коротко принят в доме, но, во всяком случае, если я звонил, то получал приглашение и приходил с визитом, читал стихи. Иногда ко мне Анна Андреевна обращалась за чисто физической помощью: я упаковывал ее библиотеку, когда она переезжала и т.д. Мне очень хотелось объяснить ей, что существует выдающийся поэт Бродский, потому что со временем я убедился в том, что Ахматова совершенно не ретроград, потому что можно быть великим поэтом, но замкнуться в своем старом времени и уже не принимать новой поэзии. Совершенно ничего подобного. Анна Андреевна любила и ценила левую поэзию, она очень ценила позднего Хлебникова, она очень ценила Элиота. И однажды я рассказал Иосифу все, что я знал об Ахматовой, и сказал, что, если он хочет, то мы к ней поедем. Мы назначили какое-то число, было лето, конец лета, и поехали в Комарово, в так называемую „Будку“, то есть на дачу Анны Андреевны. Тут есть одна очень забавная деталь, потому что я много лет спустя не мог припомнить, какого именно числа это было. И вдруг я вспомнил одну вещь: пока мы ехали к Анне Андреевне, громадные репродукторы, которые теперь исчезли из советской жизни и которые тогда то включались, то отключались, сообщали советскому народу о том, что происходит, и пока мы ехали, репродукторы сообщили о том, что в космос запущен космонавт Титов. Это было 7 августа 1961 года. Именно в этот день я привез Иосифа к Анне Андреевне.

— Это очень важно, потому что сам Иосиф называет то 61-й год, то 62-й. И я в своей книге о Бродском после окончательной сверки с ним исправил 61-й год на 62-й²⁰. Теперь следует исправить еще раз.

— У Анны Андреевны были какие-то иностранцы, и она попросила нас подождать. И мы пошли выкупаться на Щучье озеро. Надо сказать, что Иосиф великолепно владел (или владеет) фотоаппаратом. С ним был фотоаппарат „Лейка“ в этот день, и он много снимал. Так забавно получилось, что у меня остались только фотографии, которые он сделал на озере. А где те фотографии, которые он отщелкал на даче, я не знаю, может быть, они до сих пор где-то есть. Мне как-то Азадовский сказал, что он видел одну из этих групповых фотографий, где Бродский, Ахматова и я²¹. Видимо, Бродский передал кому-то фотоаппарат, и тот человек щелкнул нас. В тот вечер Иосиф читал стихи, и я почему-то совершенно не помню, что сказала Ахматова. Может быть, она ничего не сказала, потому что Анна Андреевна была величайшим мастером ответить как-то чрезвычайно односложно, не обидеть человека и вместе с тем, пока у нее не сложилось какого-то твердого мнения, она не пускалась в подробные рассуждения²². Мы все люди маловоспитанные, выросшие на пустыре, а она выросла в другой обстановке, она знала, как и когда следует себя вести, поэтому я не помню никаких ее суждений. Помню только, что шел разговор о герметизме, о темных стихах, о том, что поэт имеет право быть непонятным, если он сам что-то имеет в виду внутри своих стихов. И я припоминаю, по-моему, зимой этого или следующего года Иосиф поселился в Комарово и виделся с Анной Андреевной очень часто.

— Не кажется ли вам, что это было зимой 1963 года, потому что у него есть цикл „Песни счастливой зимы“²³?

— Да, это я помню хорошо, потому что он жил на даче Раисы Львовны Берг²⁴, где и я бывал и иногда ночевал.

— *Согласны ли вы с теми исследователями творчества Бродского, которые считают, что многолетнее общение с Ахматовой никак не отразилось на его идиостиле²⁵?*

— Это довольно сложный вопрос, сложный и коварный. Я думаю, что они не правы в том смысле, что, конечно же, отразилось, но у Бродского нет прямой стилистической связи с Ахматовой. Влияние Ахматовой прослеживается в очень важных вещах, но утопленных куда-то во второй ряд: в каком-то культурном слое, в каком-то нравственном отношении, в цене слова, в психологизме. Если говорить о его поэтике, то, мне кажется, Иосиф долгое время находился под довольно сильным влиянием Цветаевой. И это очевидно, если сравнить некоторые вещи. Тут не нужно пользоваться оптическими инструментами, чтобы это увидеть. Тем более что это все происходило у меня на глазах. Я помню, как появились первые списки вещей Цветаевой: „Крысолова“, „Поэмы горы“, „Поэмы конца“ — и, скажем, такая вещь Иосифа, как „Шествие“ [С:156-222/І:95-149] — она, безусловно, с ними связана самым прямым образом.

— *Насколько мне известно, вы навещали его в ссылке. Наблюдали ли вы в его самочувствии, в его отношении к случившемуся — там, в северной деревне — ту же степень отстранения, которая чувствуется в его стихах, написанных в течение этих 18 месяцев ссылки 1964-65 годов?*

— Вы знаете, я приехал к Иосифу спустя какое-то немалое время после того, как он попал в ссылку. По-моему, в мае 1965 года. Я был у него к 25-летию. Я застал его в хорошем состоянии, не было никакого пессимизма, никакого распада, никакого нытья. Хотя, честно признаться, я получил от него до этого некоторое количество трагических и печальных писем, что абсолютно можно понять. Но лично, когда я приехал — вместе с Найманом кстати — перед нами был бодрый, дееспособный, совершенно не сломленный человек. Хотя в эту секунду еще не было принято никаких решений о его освобождении, он мог еще просидеть всю пятерку. Так получилось, что Найман уехал, а я остался. Иосиф, нарушив какой-то арестантский режим, вынужден был неделю провести в изоляторе местной милиции. И когда Иосиф уходил, он мне оставил кучу своих стихов, написанных там, чтобы я его дождался. Я как раз эту неделю его и дождался, что было замечательно, потому что это была уже поздняя весна, очень красивое на севере время, была спокойная хорошая изба, где мне никто не мешал читать, гулять и все такое. И когда я прочел все эти стихи, я был поражен, потому что это был один из наиболее сильных, благотворных периодов Бродского, когда его стихи взяли последний перевал. После этого они уже иногда сильно видоизменяются, но главная высота была набрана именно там, в Норенской, — и духовная высота, и метафизическая высота. Так что я как раз нашел, что он в этом одиночестве в северной деревне, совершенно несправедливо и варварски туда загнанный, он нашел в себе не только душевную, но и творческую силу выйти на наиболее высокий перевал его поэзии.

— *Вы думаете, что личная трагедия, которую он тогда переживал, тоже как-то сказалась на его состоянии?*

— Да, безусловно. Это, пожалуй, было единственное, что имело для него значение. Он больше всего думал и говорил об этом. И звонок из

Ленинграда значил для него больше всего. Я помню, что несколько слов о Марине²⁶ и всей этой ситуации занимали его гораздо больше, чем бесконечные разговоры о действиях в пользу его освобождения.

— *Как вы переживали его отсутствие после 1972 года?*

— Чрезвычайно тяжело. Тут надо сказать, что я очень люблю Иосифа по-человечески. Мне он интересен. Мне нравится, как он говорит. Мне нравится, как он шутит, сам тон его поведения — все это для меня интересно и привлекательно. Я бы хотел как-то ясно и точно объяснить, что я не принадлежу к той полусумасшедшей бродскомании, которая сейчас процветает как в СССР, так и за границей. Для меня Иосиф остался тем, каким был в 20, в 25 лет. Я не воспринимаю его такой всемирной звездой, новым Элвисом Пресли мировой литературы. И его какие-то бытовые качества, его доброта, манера его шуток, его поведение, в общем-то все, из чего складывается человек, — все это мне необыкновенно симпатично. И когда он уехал, я всего этого лишился. Я лишился этого дважды, потому что сам я параллельно этому переселился в Москву. А надо сказать, что Иосиф человек чрезвычайно петроградский, ленинградский, петербургский, как угодно. Он Москву, мне кажется, не очень любит, и сам он вырос целиком на той ленинградской почве, которая и меня вырастила, и наших приятелей. Таким образом, я лишился как этой почвы, так и наиболее симпатичного ее представителя. И это было очень суровое испытание: эмиграция, сиротство, как будто бы я переселился в какую-нибудь Сахару, в Австралию, где мне ничего не напоминает о моей бывшей жизни.

— *Расскажите о вашей встрече с Бродским после долгой разлуки. Она, кажется, состоялась в Америке?*

— Да, она была в Америке, по-моему, 18 сентября 1988 года. Я прилетел по вызову Йельского университета. Это был прямой авиарейс, довольно долгий, что-то около восьми часов летел самолет. И, конечно, я готовился к встрече с Иосифом. Америка меня поразила тем, что очередь на оформление документов была гораздо дольше, чем в СССР, и я, наверное, час с лишним простоял в этой очереди и потом пошел по длинному коридору к выходу. Я смотрел и никого не видел, и вдруг я услышал голос Иосифа: „Куда ты смотришь?“ В первую минуту я его почти не узнал, как он, возможно, меня. Он мне показался чрезвычайно изменившимся, в том числе и физически. Он меня приехал встречать с одной нашей общей приятельницей, Асей Пекуровской. Мы долго ехали до Гринвич Виллидж — наверное, час из аэропорта — и с каждой минутой Иосиф как бы для меня молодел. Вот это удивительно интересный эффект. Он становился все более и более прежним человеком. Ну, я все видел: что с зубами что-то не так и с прической так же, как и у меня, — но в общем возвращался прежний Иосиф. И когда мы приехали, посидели минут 20, что-то выпивали, о чем-то говорили, зашел Барышников и мы отправились в ресторан; и буквально уже через несколько минут, когда мы сидели за столиком, передо мной сидел совершенно прежний человек. Я нахожу, что из всех людей, которых я встретил в эмиграции, моих приятелей, которых я после многих лет разлуки заново увидел, он наиболее сохранившийся человек по существу: у него не переменились ни манеры, ни привычки, ни словечки. Ну разве что вмешались какие-то англо-американские дела, что-то добавилось такое из английского менталитета, но по существу он остался тем человеком, которого я знал в старом Ленинграде.

— *Какие качественно новые явления вы заметили в его поэтике и метафизике после России?*

— Это вопрос, на который вот так с ходу ответить сложно. Он может быть темой довольно обширного исследования. Я думаю, что одна из наиболее важных вещей, которая характеризует новейшую поэзию Бродского, это то, что собрано под названием „Часть речи“ [Ч:75-96/II:397-416] — не книга, а цикл, потому что там он окончательно нашел свой новый язык. Он сделал, может быть, главное открытие свое, а может, в известной степени, и всеобщее, отказавшись от педалирования темперамента, от того, что так характерно для всей русской лирики — темпераментной, теплокровной, надрывной ноты. Вот в этих стихах, „Часть речи“, темперамент понижен, и сама мелодика, она довольно холодна и однообразна. В ней есть что-то схожее с тем, как протекает и утекает время. Оно ведь не имеет темперамента. Оно напоминает какое-то северное море, которое такими однообразными волнами накатывается на берег. И вот это вот открытие, вот это соединение своей поэзии с темпом времени — с таким не очень ярким, белесым, не надрывным, а, наоборот, размеренным, ровным, бесконечным темпом времени — оно и стало определять главное, что есть мотор какой-то, двигатель его поэзии. Я не помню дат.

— *Цикл „Часть речи“ написан в 1975-76 годах.*

— Хотя потом он написал определенное количество и драматических, романтических стихов, типа „Лагуны“ [Ч:40-43/II:318-21], „Декабря во Флоренции“ [Ч:111-13/II:383-85]. Тем не менее основной тон стал определяться именно поэтикой „Части речи“, и она мне представляется наиболее замечательной, потому что позволила ему невероятно расширить масштаб своей поэзии. Его эклоги и масса воспоминательных стихотворений, и вообще все, что входит в „Уранию“, основано на стихах, которые составляют „Часть речи“. Это и представляется мне его метафизически главным достижением в русской поэзии.

— *С вами легко согласиться, потому что и сам Бродский ваше мнение о его поэтике подтверждает, стремясь приблизиться по нейтральности тона своих стихов к движению маятника²⁷. А свое эссе о Кавафисе он так и назвал „Песнь маятника“ [L:53-68/IV:165-77]²⁸.*

— Я рад, что я что-то понял.

— *Можно ли, по-вашему, связать его тематику, концепцию и поэтику, поставив в центр время?*

— Я думаю, да. Забавно, что мы все время крутимся около одной темы. Я приглашен в Миддлбери на симпозиум, посвященный 50-летию Иосифа. И когда я думал о теме своего сообщения, то это было как раз об эстетике времени в творчестве Бродского, как он обыгрывает время. Я еще полностью не сформулировал для себя, но направление моих мыслей — поэтика времени у Бродского. Она и мне как раз очень интересна, потому что я помню несколько наших разговоров, очень давних, на эту тему. Во всяком случае, у меня есть материал для этого.

— *Не могли бы вы, хотя бы пунктиром, очертить тот фундамент, на котором, по-вашему, зиждется поэтический универсум Бродского?*

— Опять же это вопрос, на который должна отвечать целая конференция, не я один. Мне довольно трудно сейчас что-то сказать на эту тему. Думаю, что он действительно метафизик прежде всего. Религиозная

часть его поэзии — это ни в коем случае не поэзия религиозного экстаза, и ни в коем случае не поэзия, скажем, церковной детализации и соборности, хотя он и написал такое стихотворение, как „Сретенье“ [Ч:20-22/Ш:287-89]. Тем не менее, если всмотреться внимательно во все, что он написал, он, как и все замечательные поэты, идет по лезвию между теизмом и атеизмом. Он никогда не может встать ни на чью сторону. Конечно, он не вульгарный безбожник, но в его стихах совершенно нельзя найти благолепия церковного, того, что, скажем, отмечало отчетливо религиозную поэзию Хомякова или поэзию некоторых новых поэтов, например, Кублановского — то есть людей, которые считают себя и практически церковными людьми. Мне кажется, у Иосифа этого нет. Религиозные мотивы его поэзии — это те размышления о высшем, о метафизическом, о божественном, которые присутствуют в любой поэзии, которая занимается экзистенциальными проблемами бытия, которая не может обойтись без высшего начала, без Бога.

— В одном из интервью он сказал, что если бы он начал творить какую-то теологию, это была бы теология языка²⁹. Почему он считает нужным так выделять язык, превращая его в некую модель мира?

— Я думаю, это и есть одна из его главных идей. И не случайно она, может быть я ошибаюсь, возникла именно в эмиграционный период, когда он оказался вне России. Так как поэзия не может обойтись без своего мира, без своего дома, без своего материала, а Россия отдалилась, то необходимо было найти какую-то ей замену, может быть, даже лучшую, чем она сама, та реальная прагматическая Россия, среди которой вот живу, например, я. Заменой этой России и выступил язык — как наиболее концентрированная, очищенная и избавленная от иногда гнетущей реальности вещь, как лучшая маска России.

— Что порождает предельное напряжение поэтической дикции Бродского при его сознательном движении к метонимическому полюсу языка, то есть по направлению к прозе?

— Как Пушкин сказал, проза требует мыслей и мыслей. Я заметил одну довольно странную вещь. Когда я читал его эссе о Византии [L:393-446/IV:126-64]³⁰, я заметил там один странный прием: там есть довольно много абзацев, довольно много положений, которые уже описаны историками, решены, находятся в энциклопедиях, в каких-то книгах, а Иосиф явно обходит все эти уже найденные решения и пытается решить заново. Таким образом он задает своему мозгу огромную задачу — разрешить ситуации, которые огромны в историческом масштабе: борьбу крестоносцев, судьбы Востока, характер восточных деспотий. И спрятать концы того, что он об этом знает. Он заново, включая на полную мощность свою мыслительную систему, как-то все это решает, дает новые ответы. Проза движется за счет того, что он, без всяких ссылок на предшественников, интеллектуально решает свою задачу. Приблизительно нечто подобное происходит и в стихах. Мне кажется, верхний слой его стихов обладает прежде всего двумя очень могучими, с повышенной энергетикой, качествами. Первое — это мыслительный процесс, потому что нигде нет банальности, почти нигде нет заимствований, даже изящных, которые в высшей степени приняты и ничуть не осуждаются в поэзии; но Иосиф пытается решить все по-своему, всегда могучим образом работает его мозг. И второе — это его совершенно замечательный зрительный аппарат. У него особым образом устроено зрение, могучее какое-то такое, которое сразу создает точные фигуры — как некий очень усовершенствован-

ный фотоаппарат для съемки больших масштабов, которые употребляются на самолетах. Вот так же работает его зрение, которое замечает иногда и континенты, а иногда и бегущую кошку или разломанную бочку на земле. Это все свойства какого-то прозаизированного характера, прозаизированного типа дарования, который, видимо, и позволил ему стать последним крупным новатором русской поэзии. Потому что все, что связано с чистой игрой в слова, и что так сейчас процветает в Москве... Может быть, я ретроград, но мне это кажется чрезвычайно эфемерным, потому что сегодня оно есть, а завтра его нету. В то время как Иосиф создал целую новую систему, основанную на выживании условной поэтики, потому что вся русская поэзия, замечательная и великая, она во многом износила свои поэтические средства, будучи условной поэзией. И он, внося такое количество прозаизированных элементов и в мысли, и в зрение, а зрение — это значит картина, это описание, это внешний покров, это фактура...

— ...и в выборе словаря...

— ...и в выборе словаря, который всегда определяется: или условный словарь поэзии, или точный определенный словарь прозы — он как бы вступил в новый город и прошел в нем, может быть, несколько кварталов пока, а за этим лежат новые улицы, новые площади, какие-то новые поселения, о которых еще никто ничего не знает, в то время как мы все еще находимся в глубине континента. Вот этот город Бродского, который он обрел и в который он вошел при помощи своего прозаизирования, — он существует.

— *Выходит ли Бродский за пределы русской культурной парадигмы и даже русского менталитета?*

— Я думаю, да.

— *В какой степени здесь вмешивается англосаксонская поэзия, которую Бродский так любил и любит?*

— Я думаю, чрезвычайно вмешивается. Тут следовало бы, наверное, сказать что-то точное, со ссылками на каких-то английских и американских поэтов, которых я опять же знаю только в переводах. Это довольно давняя история, и тут я могу сослаться на его собственные слова. Он говорил о том, что надо сменить союзника, что союзником русской поэзии всегда была французская и латинская традиция, в то время как мы полностью пренебрежительны к англо-американской традиции, что байронизм, который так много значил в начале XIX века, был условным, что это был байронизм личности, но что из языка, из поэтики было воспринято чрезвычайно мало, и что следует обратиться именно к опыту англо-американской поэзии. И уже тогда он называл те самые вещи, о которых мы сегодня говорили, то есть отсутствие завышенного, крикливого темперамента; прозаизирование; изменение масштаба: почти всегда масштаб лирического стихотворения упирается в масштаб автора, что это неправильно, что масштаб должен быть больше, это может быть масштаб страны, масштаб континента, масштаб какой-то мыслительной идеи, каковой является религия или социология.

— Или время?

— Да, да.

— *Не усматриваете ли вы некоторый парадокс в том, что Бродский, поэт элитарный и сознающий свою величину, призывает себя и читателя к скромности и смирению?*

— У меня это не вызывает удивления, потому что это и есть настоящий аристократизм. Только нувориш, только какой-нибудь разжиревший буржуа будет бить во все барабаны. Кроме того, я думаю, что здесь есть еще более глубокий слой — это попытка уйти от такой пресловутой русской романтической позы поэта, который является полным противопоставлением толпе: „Подите прочь! Какое дело поэту мирному до вас“. Бродский, как, впрочем, и некоторые другие поэты, Кушнер, например, — я мог бы назвать еще две-три фамилии... В этом даже есть привкус нового мышления: не вне, не „пасти народы“, как говорил Гумилев, не крик с кафедры и с амвона, — а полное слияние с толпой. Кажется, у Бродского есть такая строчка в „Лагуне“: „совершенный никто, человек в плаще“ [Ч:40/Ш:318]. Вот эта попытка быть „человеком в плаще“ — это тоже драгоценная находка.

— Как вам видится лирический герой Бродского? Это не только „человек в плаще“, это и „человек в коричневом“ [У:38/Ш:336], а чаще всего — просто человек, а еще чаще он вообще представлен синекдохой: тело, шаги, мозг. Не происходит ли тут полное вытеснение лирического „я“ из стихотворения?

— Да, это очень интересно — то, что вы говорите. Об этом надо было бы подумать. Безусловно, происходит некоторое вытеснение. Во всяком случае, он всегда старался себя отдалить от полубога, каким на протяжении многих веков в самых разных поэзиях являлся поэт, — к чему-то заурядному: постоянное упоминание о карьесе зубном, о разваливающейся плоти, о выпадающих волосах, то есть какое-то соединение себя со всем, что уничтожает время, со всем, что разрушается вместе с плотью³¹. Это достаточно интересная вещь, о ней надо подумать.

— Присутствует ли тема России в стихах Бродского, написанных после эмиграции? Очевидна ли она для советского читателя, или она спрятана?

— Это зависит, мне кажется, от текстов. Есть стихи, целиком посвященные России, например, замечательное „Падучая звезда, тем паче — астероид“ [У:70-73/Ш:419-22]. Проходит она во всех стихах, эта тема. Но тут есть какая-то одна странность, которую я не могу так быстро сформулировать. Мне кажется, он уже видит Россию, в известной степени, оторванной от себя — как некий остров, как некую Атлантиду, закончившую определенный исторический этап и погружившуюся в океан истории — и описывает этот затопленный остров. То, что так или иначе почти во всех его стихах присутствует или явно, или подпольно тема России, — это совершенно очевидно.

— Как вы оцениваете прозу Бродского, в частности его пьесы?

— Пьесы Бродского не показались мне абсолютно выдающимися произведениями. Однако в них присутствует все то, что замечательно характеризует Бродского: великолепная фантазия, первоклассный интеллектуализм, умение играть тоном, то его повысить, то снизить. В общем, это интересные и утонченные произведения. „Мрамор“ [V:247-308]³² мне, скорее всего, нравится, „Демократия“ [V:309-33]³³, пожалуй, меньше. Во всяком случае, это мне интересно.

— Вам не кажется, что он продолжает и в прозе обдумывать две-три своих излюбленных темы — тему Империи, тему после конца христианства, когда культура разрешена, но лишена своего духовного центра?

— Безусловно. Тут я даже не в силах ничего добавить, просто я согласен с вами.

— *Расскажите об одном из первых вечеров поэзии Бродского в Москве после получения им Нобелевской премии, на котором вы председательствовали.*

— Это был самый первый вечер. Он был очень скромен. Я потом вел несколько десятков вечеров Бродского в обширных залах, при большом стечении публики, при участии знаменитых артистов и т.д. А самый первый был очень скромен, и в этом есть что-то, мне кажется, даже милое. Он был в подмосковном городе Пушкино, в районной библиотеке. Надо отдать должное библиотекарям и руководителям литературного кружка. Это было сразу после получения Нобелевской премии, и наше начальство глядело на Бродского довольно зверски, а они добились права проведения этого вечера в маленьком помещении, где негде было яблоку упасть, было столько людей. Одна актриса читала стихи Иосифа, а несколько человек о нем говорили. А потом пошли огромные вечера в Доме литераторов, в домах культуры, платные вечера, бесплатные вечера, где собирались сотни людей, где принимали участие всякие наши звезды, вроде Михаила Козакова, где показывались фильмы об Иосифе, прокручивались кассеты с его голосом.

— *Будучи опубликованными в России в виде гоступных книг, в какой мере его стихи способны повлиять на сознание советского читателя и произвести в нем изменения к лучшему?*

— Вы знаете, этот вопрос для меня мучительно сложный. Тираж произведений Бродского в Советском Союзе огромный. Я имею в виду тираж не „по Гутенбергу“, а машинописный, ксерокопированный. Он превосходит многие книги официальных поэтов. Сейчас в „Художественной литературе“ выходит однотомник Бродского — дело начиналось еще при мне, но потом я отступил, потому что я не текстолог. Выходит тиражом 50 тысяч³⁴. Почти все литераторы, которые как-то вовлечены в судьбы нашей словесности, уже знакомы со стихами Иосифа. С ними знакомо подавляющее большинство молодых поэтов, с ними знакомо подавляющее большинство интеллигенции. У меня есть опасение, что этот 50-тысячный тираж немедленно станет высокоденежным раритетом и уйдет к каким-то библиофилам на полку, что он ничего существенного не изменит. Кстати, 25 апреля в „Литературной газете“ появится целая полоса его стихов³⁵.

— *Я знаю, у меня взяли интервью для „Литературной газеты“ для круглого стола³⁶. Но параллельно с „Худлитом“ выходит сборник в Минске, за который отвечает Уфлянд, потом, кажется, в Волгограде и, наконец, в Ленинграде³⁷. Итого три-четыре книжки почти одновременно. Что-то должно дойти до рядового читателя?*

— Безусловно. Я опираюсь на то, что будет сделана одна, хорошо вычитанная самим Иосифом, книга. Но если выйдет несколько книг, кто знает... Дело в том, что у нас произошла явная европеизация отношений с поэзией, то есть она, в общем, перестала интересовать общество.

— *А, может быть, это здоровые отношения?*

— Да, я сам так считаю. Я уверен в том, что времена Евтушенко и Вознесенского, когда были сотысячные тиражи, митинги на стадионах, и когда считалось, что они ответят на все роковые вопросы времени, прошли. Это невероятно сложный вопрос — что ответит рядовой читатель. Будем надеяться, что лучшие из них увидят, что это первоклассная литература. А те люди, которые связаны с культурой какой-то пуповиной, какой-то живой нитью — они уже знают эти стихи. Ну, они получают том.

— Какие из стихов Бродского вы не включили бы в его „Избранное“?

— Я не очень люблю определенное количество его ранних стихов, которые, кстати сказать, весьма популярны, вроде „Пилигримов“ [С:66-67/1:24] и т.д. Мне вообще нравится, что Иосиф пишет в последнее время, но лет семь тому назад у него был такой механистический период. Я сейчас даже не в силах перечислить все, но там есть стихи, которые, мне кажется, сделаны несколько компьютерным образом. Но так нельзя судить поэта. Я это говорю, и сам недоволен своими словами, потому что поэзия есть некий процесс, и необходимо любить и ценить поэта и воспринимать его творчество как некий поток, где есть перепады, где есть пробелы, как результат жизни. А так как жизнь свою не выстроишь по линейке, то и невозможно судить о том, где хуже, где лучше. Жизнь совпадает со стихами.

— Я знаю, что у вас есть несколько стихотворений, посвященных и обращенных к Иосифу. Какое из них вы позволили бы включить в этот сборник?

— Это очень старое стихотворение, написанное в 1974 году, то есть 16 лет тому назад. Это первое стихотворение, обращенное к Иосифу после отъезда. У меня есть еще несколько стихотворений, ему посвященных, но пусть здесь будет это первое стихотворение.

В НОВУЮ АНГЛИЮ³⁸

И.Б.

На первом этаже выходят окна в сад,
Который низкоросл и странно волосат
От паутины и нестриженных ветвей.
Напротив особняк, в особняке детсад,
Привозят в семь утра измученных детей.
Пойми меня хоть ты, мой лучший адресат!

Так много лет прошло, что наша связь скорей
Психоанализ, чем почтовый разговор.
Привозят в семь утра измученных детей,
А в девять двадцать пять я выхожу во двор.
Я точен, как радар, я верю в ритуал —
Порядок — это жизнь, он времени сродни.
По этому всему, пространство есть провал,
И ты меня с лучом сверхсветовым сравни!

А я тебя сравню с приветом и письмом,
И с трескотней в ночном эфире и звонком,
С конвертом, что пригрет за пазухой тайком,
И склеен второпях слезой и языком.
Зачем спешил почтарь? Уже ни ты, ни я.
Не сможем доказать вины и правоты,
Не сможем отменить обиды и нытья,
И все-таки любви, которой я и ты
Грозили столько раз за письменным столом.

Мой лучший адресат, напитки и плоды
 Напоминают нам, что мы еще живем.
 Семья не только кровь, земля не только шлак,
 И слово не совсем опустошенный звук!
 Когда-нибудь нас всех накроет общий флаг,
 Когда-нибудь нас всех припомнит общий друг!

Пока ты, как Улисс, глядишь из-за кулис
 На сцену, где молчит художой троянский мир,
 И вовсе не Гомер, а пылкий стрекулист
 Напишет о тебе, поскольку нем Кумир.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. Иосиф Бродский, „Трагический элегик. О поэзии Евгения Рейна“. Эссе написано как предисловие к кн. Рейна „Против часовой стрелки“ (Hermitage: Tenaflly, N.J., 1991, С. 5-13). В России опубликовано в журнале „Знамя“ (No. 7, 1991, С. 180-84) и в качестве предисловия к „Избранному“ Рейна („Третья волна“: Москва-Париж-Нью-Йорк, 1992, стр.5-13). Английские переводы стихов Рейна см. „Metropol“ (New-York/London, 1982), tr. by H.W.Tjasma, P. 64-84.

² Иосиф Бродский в интервью Анни Эпельбуан сказал: „На мой взгляд, это самый интересный, самый значительный поэт на сегодня“ (Иосиф Бродский, „Европейский воздух над Россией“ („Странник“, No. 1, 1991, С. 36)). См. также выступление Бродского на вечере Евгения Рейна в Культурном центре эмигрантов из Советского Союза в Нью-Йорке 29 сентября 1988 года („Стрелец“, No. 10, 1988, С. 38-39).

³ Иосиф Бродский, „Настигнуть утраченное время“, интервью Джону Глэду („Время и Мы“, No. 97, 1987, С. 165). В России перепечатано в альманахе „Время и Мы“ („Время и Мы“/„Искусство“: Москва/Нью-Йорк, 1990), С. 283-97 и в книге Глэда „Беседы в изгнании“ („Книжная палата“: М., 1991, С. 122-31).

⁴ О „неофициальной“ поэзии Ленинграда конца 50-х — начала 60-х см. подборку материалов в „Новом литературном обозрении“ (No. 14, 1995, С. 165-314), там же избранная библиография, составленная Иваном Ахметьевым и Владиславом Кулаковым. См. также интервью с Анатолием Найманом в настоящем издании.

⁵ Из статьи Владимира Уфлянда „Один из витков истории Питерской культуры“ (альманах „Петрополь“ (А-Д), Вып. 3, 1991, С. 108-15): „В объединении Технологического института царил Евгений Рейн со своей поэмой о Рембо и тихо, но ярко блистали Анатолий Найман и Дмитрий Бобышев“ (С. 110).

⁶ Рейн, вероятно, имеет в виду некоторые из интервью Бродского, в частности, Наталье Горбаневской: „Быть может, самое святое, что у нас есть — это наш язык...“ („Русская мысль“, 3 февраля 1983 г., С. 8-9) и Джону Глэду (Ibid.), в которых обсуждаются проблемы русской поэзии и поэтики.

⁷ Бродский в интервью Горбаневской, вспоминает: „Я у него [у Рейна] многому научился. Один урок он мне преподавал просто в разговоре. Он сказал: 'Иосиф, ... в стихотворении должно быть больше существительных, чем прилагательных, даже чем глаголов. Стихотворение должно быть написано так, что если ты на него положишь некую волшебную скатерть, которая убирает прилагательные и глаголы, а потом поднимешь ее, бумага все-таки будет еще черна, там останутся существительные: стол, стул, лошадь, собака, обои, кушетка...'. Это, может быть, единственный или главный урок по части стихосложения, который я в своей жизни услышал“ (Ibid., С. 9). Сходное воспоминание см. в выступлении Бродского на вечере Рейна в Нью-Йорке 29 сентября 1988 (Ibid.) и в интервью Джону Глэду (Ibid.).

⁸ Евгений Рейн, „Нежностно...“ („Раритет-537“: М., 1992, С. 56-57).

⁹ „Посвящение Глебу Горбовскому“ („Уходить из любви...“), датированное 4 сентября 1961 г. (по „самиздатскому“ „Собранию сочинений“ Бродского, составленному и отредактированному Владимиром Марамзиным (том 1, „Стихи и поэмы 1957-62“,

Л-д, 1974; далее — [МС-1]), опубликовано без ведома автора в 1965 году в книге „Стихотворения и поэмы“ и в альманахе „Воздушные пути“ (Нью-Йорк, Вып. IV, 1965, С. 61-62). Больше на русском языке не переиздавалось. „Письмо к А.А.“ („Все равно ты не слышишь...“) также не переиздавалось до включения в I том „Сочинений Иосифа Бродского“. Поэт относился к своим вещам этого периода довольно скептически (см. интервью с Томасом Венцловой в настоящем издании).

¹⁰ Константин Кузьминский с Георгием Ковалевым собрал и издал 9 томов „Антологии новейшей русской поэзии у Голубой Лагуны в 13 томах“: К.К. Kuzminsky & G.L. Kovalev (Eds.), „The Blue Lagoon Anthology of Modern Russian Poetry“ (Oriental Research Partners: Newtonville, Mass./ N.Y., 1980-86. — Vols. 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B).

¹¹ „The Blue Lagoon Anthology of Modern Russian Poetry“, Ibid., Vol. 2B, 1986, С. 233.

¹² О Михаиле Красильникове см. статьи Уфлянда „Один из витков истории Питерской культуры“ (Ibid.), Льва Лосева „Тулузы мы“ („The Blue Lagoon Anthology of Modern Russian Poetry“, Ibid., Vol. 1, 1980, С. 141-49; перепечатано в „Новом литературном обозрении“, No. 14, 1995, С. 209-15), Вадима Крейденкова „Футурист 50-х годов“ и Соломона Гоziаса „О Красильникове“ („The Blue Lagoon...“, Ibid., Vol. 5A, 1986, С. 559-84). Стихи Красильникова опубликованы в 1 томе антологии „У Голубой Лагуны“ (С. 156-58) и в журнале „Аврора“ (No. 10, 1991, С. 45-47).

¹³ Горбовскому посвящено упомянутое выше стихотворение „Уходить из любви...“ [С:41-42] и датированный 9 декабря 1960 г. (по [МС-1]) „Сонет к Глебу Горбовскому“ („Мы не пьяны. Мы, кажется, трезвы“) [С:40], никогда не переиздававшийся автором и не вошедший в „Сочинения Иосифа Бродского“. В России „Сонет к Глебу Горбовскому“ был перепечатан в первом выпуске альманаха „Петрополь“ (Л-д, 1990, С. 12). Бродский в интервью Анни Эпельбуан отмечает, что, сделав „официальную карьеру“, „Горбовский..., к сожалению, превратился в довольно посредственного автора не без проблемского таланта. И конечно же, это поэт более талантливый, чем, скажем, Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, кто угодно. И тем не менее, как ни грустно признать, это все-таки второй сорт“ (Ibid., С. 36). Горбовский писал о Бродском в своих мемуарах „Остывшие следы. Записки литератора“ („Лениздат“: Л-д, 1991, С. 217, 247, 269, 279-81, 283, 290, 362). О Горбовском „неофициального“ периода см. статью Славы Гоziаса „Несколько слов о Глебе Горбовском“ („Новый журнал“, Нью-Йорк, No. 162, С. 153-68; перепечатано в „Русском разезде“, Вып. 1, 1993). Ранние стихи поэта опубликованы Алексеем Хвостенко в парижском журнале „Эхо“ (No. 3, 1978, С. 50-55) и К.Кузьминским в антологии „У Голубой Лагуны“ (Ibid., Vol. 1, С. 431-83). Там же см. материалы о данном периоде поэта (Vol. 1, С. 425; Vol. 5A, С. 585-626). Уже в настоящее время ранние стихи собраны Горбовским в книгу „Сажу на нарах...“ (Из непечатного) („Редактор“: СПб., 1992).

¹⁴ Пастернак Б.Л., „Собрание сочинений в пяти томах“ („Худож. литература“: М., т. 1, 1989, С. 196).

¹⁵ Пастернак Б.Л., „Собрание сочинений в пяти томах“, Ibid., С. 293.

¹⁶ Верлибр 1960 года „Памяти Феде Добровольского“ („Мы продолжаем жить“), не вошедший в „Сочинения Иосифа Бродского“, был перепечатан в первом выпуске альманаха „Петрополь“ (Ibid., С. 12-13). Возможно, Рейн имеет в виду написанную в том же году и примыкающую к нему „Песенку о Феде Добровольском“ („Желтый ветер маньчжурский“) [С:36], в России опубликованную в кн. Бродский И. „Форма времени. Стихотворения, эссе, пьесы в 2-х томах“ („Эридан“: Минск, 1992, т. 1, С. 72).

¹⁷ Анахронизм. Стихотворение „Воротишься на родину. Ну что ж...“ входит в цикл „Июльское интермедцо“ [I:84-94], написание которого связано с экспедицией в Якутию летом 1961 года.

¹⁸ Поэма в трех частях „Петербургский роман“, датированная первой половиной 1961 года, не включалась в доотъездные авторские сборники [С] и [О]. Вероятно, здесь сыграли свою роль цензурные соображения, т.к. в гл. 7-9 прямо фигурирует „Литейный, бежевая крепость, / подъезд четвертый кгб“: „...хвала тебе, госбезопасность, / людскому разуму хула...“ [I:68-69]. В позднейших машинописных экземплярах гл. 7 была целиком опущена, а гл. 8-9 даны в значительно сокращенной редакции. Полный текст „Петербургского романа“ (с вариантами редакций поэмы) сохранился в [МС-1] (С. 108-34). Поэма была опубликована через 30 лет после написания, в 1 томе „Сочинений Иосифа Бродского“.

¹⁹ Некоторая путаница с датами. „Исаак и Авраам“ написан в 1963 году, а „Новые стансы к Августе“ датированы 1964 годом.

²⁰ V. Polukhina, "Joseph Brodsky: A Poet for Our Time" (Cambridge University Press, 1989, P. 8). 1962 год фигурирует в беседе Бродского с С. Волковым: „Вспомяни Анну Ахматову“ („Континент“, No. 53, 1987, С. 337-82). См. отдельное издание: „Бродский об Ахматовой. Диалоги с Соломоном Волковым“ („Независимая газета“: М., 1992, С. 6). См. также интервью Джону Гладу „Настигнуть утраченное время“ (Ibid., С. 288).

²¹ Бродский фотографировал Ахматову несколько раз. Ряд снимков воспроизведен в кн. Amanda Height, "Anna Akhmatova. A Poetic Pilgrimage" (Oxford University Press, 1976). Воспоминания об этом см. „Бродский об Ахматовой“, Ibid., С. 25.

²² Стихи Бродского, закончивавшего в то время работу над „Июльским интермеццо“ [I:84-94] и находящегося на подступах к „Шествию“ [С:156-222/I:95-149], по нравиться Ахматовой, конечно же, не могли. Да и сам поэт признавался, что некоторое время не понимал „с кем он имеет дело“. Бродский, по собственному признанию, „был нормальный молодой советский человек“, довольно смутно разбирающийся в полузапретной поэзии „серебряного века“: „Сероглазый король был решительно не для меня, как и 'правая рука', 'перчатка с левой руки' — все это не представлялось мне такими уж большими поэтическими достижениями“ („Бродский об Ахматовой“, Ibid., С. 7). Поэт вспоминал, что „когда ... Рейн предложил меня свести к Ахматовой, я чрезвычайно удивился: а что, Ахматова жива?“ („Настигнуть утраченное время“, Ibid., С. 288).

²³ Цикл „Песни счастливой зимы“ (1962-64) полностью опубликован Львом Лосевым в альманахе „Часть речи“ (No. 2/3, Нью-Йорк, 1981/82, С. 47-62) с его же послесловием: „Первый лирический цикл Иосифа Бродского“ (С. 63-68).

²⁴ Р.А.Берг — дочь академика Берга, у которого когда-то учился отец поэта. Вероятно, Бродский снимал дачу в Комарово в первую из „счастливых зим“ (1962-63), поскольку вторая (1963-64) прошла, по воспоминаниям Лосева, „в непрерывном бегстве“ („Часть речи“, No. 2/3, С. 67). Бродский рассказывает об этой зиме, когда они с Ахматовой „виделись буквально каждый день“, в беседах с Соломоном Волковым (Ibid., С. 7, 25).

²⁵ V. Polukhina, "Joseph Brodsky: A Poet for Our Time" (Ibid, P. 9). См. также: В. Полухина, „Ахматова и Бродский (к проблеме притяжений и отталкиваний)“ („Ахматовский сборник“, Париж, Vol. I, 1989, С. 143-53).

²⁶ Марианна Павловна Басманова, подруга поэта, известная читателям под инициалами М.Б.

²⁷ „...если есть какая-либо эволюция, то она в стремлении нейтрализовать всякий лирический элемент, приблизить его к звуку, производимому маятником, т.е. чтобы было больше маятника, чем музыки.“ („Настигнуть утраченное время“, Ibid., С. 295).

²⁸ Joseph Brodsky, "Pendulum's Song" [L:53-68]. Эссе написано по-английски в 1975 году и опубликовано под названием "On Cavafy's Side" ("The New York Review", Vol. XXIV, No. 2, 17 February 1977, P. 32-34). Авторизованный перевод Лосева: „На стороне Кавафиса“ впервые опубликован в парижском журнале „Эхо“ (No. 2, 1978, С. 142-52).

²⁹ „Быть может, самое святое, что у нас есть — это наш язык...“, интервью Н. Горбаневской, Ibid., С. 8.

³⁰ Эссе „Путешествие в Стамбул“ написано в июне 1985 года и впервые опубликовано в „Континенте“ (No. 46, 1985, С. 67-111). Английский перевод: "Flight from Byzantium", tr. by Alan Myers with author, originally in "The New Yorker" (Vol. 61, No. 36, 1985, October 28, P. 39-80).

³¹ В многочисленных интервью поэт выделяет тему времени не только как сквозную, но и как основополагающую для своего творчества: „Дело в том, что то, что меня более всего интересует и всегда интересовало на свете ... — это время и тот эффект, какой оно оказывает на человека ... то, что время делает с человеком, как оно его трансформирует. С другой стороны, это всего лишь метафора того, что, вообще, время делает с пространством и с миром“ („Настигнуть утраченное время“, Ibid., С. 285).

³² Пьеса „Мрамор“ написана в 1982 году и впервые опубликована в израильском журнале „Двадцать два“ (No. 32, 1983, С. 3-59); отдельное издание: „Мрамор“ (Ardis: Ann Arbor, 1984). Английский перевод: "Marbles: A Play in Three Acts", trans. Alan Myers with the author, "Comparative Criticism" (Cambridge, Vol. VII, 1985, P. 199-243). Отдельное издание: "Marbles. A Play in Three Acts" (Farrar, Straus & Giroux: New York, 1989).

³³ „Демократия!“ впервые опубликована в „Континенте“ (No. 62, 1990, С. 14-42). Отдельным двуязычным изданием: „Демократия! Одноактная пьеса“ / "Democratie! Piece

en un acte", tr.fr. Veronique Schiltz (A Die, 1990). Английский перевод: "Democracy", trans. by Alan Myers ("Granta", No. 30, Winter 1990, P. 199-233). В 1993 году Бродский опубликовал второй акт пьесы: "Democracy, Act II" ("Partisan Review", Vol. 60, No. 2, Spring 1993, P. 184-94; 260-88).

³⁴ Бродский И., "Часть речи. Избранные стихи 1962-1989", составитель Эдуард Безносков ("Худож. лит-ра": М., 1990).

³⁵ Бродский И., "Только пепел знает, что значит сгореть дотла..." ("Литературная газета", 25 апреля 1990 года, С. 6).

³⁶ В беседе приняли участие критик Виктор Ерофеев, поэты Юрий Кублановский и Александр Кушнер, литературоведы Дмитрий Урнов и Валентина Полухина ("Литературная газета", 16 мая 1990 года, С. 6).

³⁷ В августе 1990 года вышли первые два отечественных сборника стихов Бродского: "Назидание", сост. В.Уфлянд ("Смарт"/"Эридан": Л-д/Минск, 1990) и "Осенний крик ястреба", сост. О.Абрамович ("ИМА-пресс": Л-д, 1990). После этого, помимо многочисленных публикаций в периодике, в 1990-95 годах вышли книги: "Стихотворения Иосифа Бродского", сост. Г.Комаров ("АЛГА-Фонд": Л-д, 1990); "Часть речи. Избранные стихи 1962-1989 годов", сост. Э.Безносков ("Худ. лит.": М., 1990); "Стихотворения" ("Полиграфия": М., 1990); "Стихотворения", сост. Я.Гордин ("Besti Raamat": Таллинн, 1991); "Письма римскому другу", сост. Е.Чижова ("Экслибрис": Л-д, 1991); "Баллада о маленьком буксире" ("Детская литература": Л-д, 1991); "Холмы. Большие стихотворения и поэмы", сост. Я.Гордин ("Киноцентр": СПб, 1991); "Бог сохраняет все", сост. В.Куллэ ("Миф": М., 1992); "Форма времени. Стихотворения, эссе, пьесы в 2-х томах", сост. В.Уфлянд ("Эридан": Минск, 1992); "Рождественские стихи" ("Независимая газета": М., 1992); "Набережная неизлечимых. Тринадцать эссе", сост. В.Гольшев ("Слово": М., 1992); "Избранное" ("Библиотека новой русской поэзии", 1 том), сост. Г.Комаров ("Третья волна"/"Нейманис": Москва/Мюнхен, 1993); "Каппадокия" ("Петербургское соло", Вып. 10) (СПб, 1993); "Избранные стихотворения 1957-1992" (серия "Лауреаты Нобелевской премии"), сост. Э.Безносков ("Паанорама": М., 1994); "Пересеченная местность. Путешествия с комментариями", сост. П.Вайль ("Независимая газета": М., 1995); "В окрестностях Атлантиды: новые стихотворения", сост. Г.Комаров ("Пушкинский фонд": СПб, 1995); "Сочинения Иосифа Бродского", сост. Г.Комаров ("Пушкинский фонд": СПб, I-IV тома, 1992-1995).

³⁸ Евгений Рейн, "Избранное" ("Третья волна": Москва-Париж-Нью-Йорк, 1992, С. 57-58).



Анатолий Генрихович Найман родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде. Поэт, прозаик, переводчик, эссеист. Окончил Ленинградский Технологический институт (1959). Вместе с Бобышевым, Бродским и Рейном принадлежал к кругу опекаемых Ахматовой молодых поэтов. С 1962 года и до конца ее жизни Найман был литературным секретарем Ахматовой, вместе с ней он переводил Леопарди в 1964 году¹. Автор замечательных воспоминаний: „Рассказы о Анне Ахматовой“ (1989), которые в 1991 году вышли по-английски с предисловием Бродского². В Москве, где Найман живет с 1968 года, опубликованы его переводы поэзии трубадуров, старопровансальских и старофранцузских романов³. Он также переводил Бодлера, Браунинга, Гельдерлина, Джона Донна, Т.С.Элиота и Паунда.

В юношеских стихах Наймана слышатся голоса Блока, Пастернака и Заболоцкого, а в зрелом возрасте он следует акмеистическому канону, пользуясь классическими размерами, чистейшим словарем, изысканным синтаксисом и архитектурной композицией. Для Наймана основной единицей стихотворения является не фраза, а слово, к которому он относится как к драгоценному материалу. Своей возвышенной духовностью, абстрактной образностью и медитативно-элегическим тоном, окрашенным иронией, Найман близок поэтике Бродского, питающейся из того же источника. В послесловии к „Стихотворениям Анатолия Наймана“ (1989), первому сборнику поэта, Бродский отмечал, что в творчестве Наймана „двух последних десятилетий нота христианского смирения звучит со все возрастающей чистотой и частотой, временами заглушая напряженный лиризм и полифонию его ранних стихотворений“⁴. Найман написал одну из первых серьезных статей о творчестве Бродского, которая появилась в качестве вступления к сборнику „Остановка в пустыне“ под инициалами Н.Н.⁵. Несколько его последующих эссе, докладов и статей о Бродском отличаются тонкими наблюдениями, глубоким анализом и блистательным слогом⁶. В последнее время стихи Наймана широко представлены в отечественной периодике⁷. В 1993 году вышел второй сборник Наймана, „Облака в конце века“⁸, готовится к изданию новая книга стихов под условным названием „Точное время“. В 1992 году в Лондоне вышла книга прозы „Статуя Командира и другие рассказы“⁹. Найман продолжает работу над прозой, он опубликовал в периодике роман „Поэзия и неправда“, завершил работу над книгой рассказов „Славный конец бесславных поколений“¹⁰.